|  |
| --- |
|  |

Олег Лекманов

**О ДНЕВНИКАХ, МЕМУАРАХ И НЕМНОГО О ЗЛОСТИ**

**Александр Гладков. Дневник. Публикация, подготовка текстов, вступительная статья и комментарии Михаила Михеева (Новый мир, № 1 – 3, 2014)**

 В «Новом мире» начата публикация «оттепельного» дневника Александра Константиновича Гладкова (1912 – 1976). *Все* знают фильм Э. Рязанова «Гусарская баллада», снятый по гладковской пьесе «Давным – давно»; *некоторые* читали умные и содержательные мемуары Гладкова о Пастернаке, Мейерхольде, Паустовском и других современниках. Однако интереснейший дневник драматурга, исправно ведшийся им с 1928 года и до самой смерти – пока полностью не напечатан.

 Заполнить эту существенную (безо всяких преувеличений!) лакуну в культуре советского времени спорадически пытался совсем недавно ушедший от нас прекрасный архивист Сергей Викторович Шумихин, напечатавший в разных журналах и сборниках большие фрагменты дневника. Теперь за дело взялся Михаил Михеев и взялся хорошо: его обширная вступительная статья к публикации содержательна и наблюдательна, примечания к реалиям точны и информативны.

 В одной из записей своего дневника Гладков сообщает, что, будучи в гостях у Паустовского, он просматривал тогда еще не опубликованные «блистательные портреты Чуковского и Житкова» из дневника Евгения Шварца. Можно представить себе, с каким жадным интересом Гладков должен был глотать Шварца – его собственный дневник по тону высказываний очень близок как раз к дневнику автора «Дракона», «Тени» и «Обыкновенного чуда». Та же беспощадная наблюдательность, то же стремление и умение сказать что-то хорошее, беззлобное даже о лично неприятном тебе, обидевшем тебя человеке.

 Резоны печатанья *выборки* из многотомного дневника Гладкова в «Новом мире» понятны, оправданы и благородны, но все же боюсь, что знакомясь с этой выборкой, мы неизбежно уподобляемся слепцу, пытающемуся составить представление о *целом* слоне, ощупывая его хвост или ухо. Для осуществления чрезвычайно трудоемкого, но явно назревшего проекта публикации Дневника (пусть здесь останется большая буква) в полном объеме нужен специальный человек – фанатик своего дела и трудоголик, который, при этом, не страдал бы недугом перфекционизма. Иначе он раз в десять лет будет выдавливать из себя пять «идеально» откомментированных страничек. И не нужно говорить, что таких людей нет – я сам знаю, как минимум, двух, вот только им Пастернак и Кузмин интереснее Гладкова.

Гипотетическому трудолюбцу-публикатору придется предложить текстологические решения для многих проблем, связанных с дневником, в частности, он столкнется с проблемой саморедактирования, которому Гладков в поздние годы жизни подвергал свои ранние записи. Надеюсь, что будущее издание обойдется без купюр – пусть читатель сам решает, о чем ему интересно узнавать, а о чем нет, переворачивая или бегло просматривая «неинтересные» страницы (которые у разных людей, конечно, окажутся разными).

**Елена Коркина. «А вы “Поэму конца” можете написать?». Текст: Анна Голубева (Colta. ru – http://www.colta.ru/articles/literature/2520)**

 Таким риторическим вопросом, звучащим почти как название стихотворения раннего Маяковского, замечательный архивист и цветаевед Елена Баурджановна Коркина ответила на короткую реплику интервьюера, заметившего, что есть люди, со знаком плюс противопоставляющие Анну Ахматову Марине Цветаевой. Интервьюируемая, понятное дело, этого мнения не разделяет – она первая, среди известных мне серьезных людей, полупохвалила многостраничный и утомительный в своем однообразии пасквиль Т. Катаевой «Анти-Ахматова»: «Не очень понимаю, откуда у автора такая страсть к обличению Ахматовой. Какой накал надо в себе поддерживать, чтобы проделать такую огромную работу. Природа его мне непонятна, а результат очень впечатляет».

 Впрочем, чуть ниже Коркина, если я правильно понял смысл ее высказывания, декларирует отказ от любых оценок за поведение, выставляемых одними людьми другим: «Люди считают, что могут судить других». Принцип благой и вызывающий горячее сочувствие, только он, к сожалению, почти никогда не соблюдается ни критиками, ни мемуаристами, ни просто людьми, говорящими друг с другом больше пяти минут. Пример – обидный и совсем не обязательный упрек, который в этом интервью сделан чудесному, да еще совсем недавно умершему человеку, сыну третьего поэта из великой четверки. А Colta.ru еще и крупным жирным шрифтом это место в интервью выделила!

 Мне кажется, лучший (если не единственный) выход из положения – стараться говорить и писать лишь о людях, которых по-настоящему любишь. Елена Баурджановна Коркина с юности преданно любит Марину Ивановну Цветаеву и ее дочь Ариадну Сергеевну Эфрон, о чем рассказывает в интервью без сюсюканья и приукрашивания себя и объектов своей любви. О Цветаевой Коркина говорит ярко и нетривиально: «…вы “Поэму конца” можете написать? Нет? Ну а чего вы хотите-то? Это же ненормальное явление – “Поэма конца”, так? А почему у ее автора должно быть в остальном-то все нормально? В стихах же ее это сказано: “Ибо раз голос тебе, поэт, дан – остальное взято”. А “остальное” – это же не только богатство, благополучие и счастье в личной жизни. Это все что угодно – и доброта, и жалость, и чувства к окружающим. И к чему угодно. Вернее – ко всему. Не ждите ничего нормального». А устный портрет Эфрон у Коркиной получается живой и бесконечно обаятельный: «Вот как-то мы в Тарусе шли вечером – тогда “17 мгновений весны” показывали, и мы у соседей смотрели. Лето, но уже было довольно поздно, прохладно, и роса сильная. Смотрю – а она в шлепках прямо на босу ногу. Я говорю: что же это вы, босиком по росе-то! Она тут же: “Не по-ро-се-то, а по-ро-сята”. Веселая была, шутила, любила разные игры в слова, придумывала какие-то стихи на случай. Там же, в Тарусе, соседи уезжали, Половниковы, она им на прощание написала: “Мы провожаем Половниковых не как друзей – как любовников”».

 Очень важно то, что любовь Коркиной к Цветаевой и Эфрон была и остается деятельной, созидательной. Ариадне Сергеевне Елена Баурджановна была преданной помощницей в самых разных делах в течение долгих лет, Из текстов же Марины Цветаевой, образцово подготовленных Коркиной к печати, составилась целая книжная серия. Особенно хочется выделить том переписки Цветаевой с Пастернаком, в делании которого участвовала также Ирина Шевеленко.

Вот и то интервью, которое я сейчас обозреваю, приурочено к выходу очередной и, видимо, последней книги в серии – «Дневники Ариады Эфрон. 1919 – 1921» в издательстве «Русский путь». Приложен к интервью прекрасный подарок – впервые публикуемый устный рассказ Ариадны Эфрон «Господин Уодингтон», записанный Коркиной (http://www.colta.ru/articles/literature/2519).

**Виталий Пырх. Вспоминая Астафьева (День и ночь, № 1, 2013)**

 Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001) был писателем и человеком сложным, выламывающимся из всевозможных историко-литературных и прочих рамок. Фронтовик, друг Василя Быкова, он, в отличие от своего белорусского собрата, не посвятил *всего себя* военной теме, хотя и написал несколько очень сильных вещей о войне. Часто включавшийся позднесоветскими критиками в обойму «деревенщиков», Астафьев отнюдь не идеализировал сельскую старину и патриархальные нравы. Счастливо избежал он и вязких этнографических стилизаций в духе переводов из модного тогда Маркеса, чему отдал щедрую дань другой большой писатель, входивших в пресловутую обойму.

Человек порывистый и гневливый, по русской привычке всегда озабоченный сакраментальным вопросом: «Кто виноват?», Астафьев в 1986 году в двух своих произведениях, опять же, по русскому обычаю, обвинил во всех бедах родины «инородцев». В резкую эпистолярную полемику с ним тогда вступил выдающийся историк-просветитель Натан Яковлевич Эйдельман, и тут уж автор «Печального детектива» не постеснялся и дал своей юдофобии и своему озлоблению излиться без оглядки на приличия и общественное мнение. Увы, от этих своих взглядов Астафьев, кажется, так и не отказался, но и ему самому досталось по первое число от бывших единомышленников, когда в 1993 году он решительно поддержал Ельцина в борьбе с коммунистами и националистами.

 В воспоминаниях астафьевского хорошего знакомого, журналиста и поэта Виталия Пырха, самое интересное – это мелкие черточки из позднего быта писателя, многое говорящие о нем и его тогдашнем положении. У четы Астафьевых не было машины (Пырх как-то подвез их до квартиры в Академгородке на своем служебном автомобиле); отоваривался Виктор Петрович в крайкомовском магазине (и это вызвало возмущение у красноярских газет: «раз уж ты пишешь про советскую власть такие книги, то и живи полуголодный»); мстительное Законодательное Собрание Красноярского края даже пыталось срезать у престарелого писателя-фронтовика небольшую персональную прибавку к пенсии.

 Но страстность и пристрастность трудно жившего Астафьева никуда не делись: завершаются мемуары Виталия Пырха записанным на диктофон пространным астафьевским монологом о войне, России и русской литературе (причем Некрасов справедливо назван гениальным поэтом, а Пушкин – смешно и несправедливо – «избалованным барчуком»).

**Семюел Реймер. Вспоминая Бродского/ Перевод с английского Натальи Рахмановой (Звезда, № 1, 2014)**

 Хотя великий русский поэт Иосиф Александрович Бродский (1940 – 1996) умер сравнительно недавно, количество опубликованных мемуаров о нем уже сейчас приближается к рекордным цифрам. Сложился даже определенный стандарт типовых воспоминаний о Бродском. Выглядит он примерно так:

«Прилетая в Нью-Йорк, я естественно, каждый раз звонил Иосифу.

 – Привет, старик! – раздавался в трубке его неповторимый голос. – Немедленно бери такси и хиляй сюда. Дорогу помнишь?

 Как забыть мне набитую книгами и окурками, но все равно – такую уютную квартирку Иосифа, где под ногами у гостей мельтешил кот Бемоль? Как забыть мне неповторимое «Мяу», которым встречал избранных гостей сам Иосиф? Как забыть поясной портрет Анны Андреевны, строго взиравшей на наши с Иосифом дурачества неповторимым ахматовским взглядом?

 По утрам за чашкой крепчайшего турецкого кофе я частенько спрашивал Иосифа:

 – Старик, почему ты не приедешь в Россию?

 – Ну, старик, – с неповторимой интонацией хмыкал Иосиф, – на Васильевский остров я приду только умирать… А если серьезно – не хочу возвращаться на Родину праздным туристом. Что было, то прошло.

 Многие сейчас говорят о пресловутой холодности и надменности Иосифа. Ну, не знаю, не знаю… Помню, как он носился по университетскому кампусу, устраивая мой первый вечер стихов, а потом своим неповторимым голосом вел этот вечер».

 Это я к чему? Это я к тому, что напечатанные в «Звезде» воспоминания о Бродском американского историка Семюела Реймера абсолютно непохожи на типовые мемуары о поэте. Реймер не только хорошо знал автора «Рождественского романса» и «Остановки в пустыне», но и сумел написать о нем живо и чисто. Избегая общих, необязательных слов, мемуарист сохранил для нас множество любопытных и трогательных подробностей о своем герое. Откуда бы мы еще узнали о том, например, что на вопрос: каково было близко общаться с Анной Андреевной Ахматовой, Бродский ответил: у нее был «самый искренний смех на свете»? Или о том, что северянин Бродский ненавидел пальмы и сильную жару (вот вам и один из ключей к его эссе «Путешествие в Стамбул»)? Или о том, что поэт испытывал почти физическое наслаждение, слушая магнитофонные записи Владимира Высоцкого?

А вот еще одна милая зарисовка: когда будущий мемуарист уезжал из Ленинграда, то Бродский устроил в его честь вечеринку и, зная, что Реймер не пьет спиртного, обернул горлышки двух бутылок лимонада бумажными лентами с надписью: «Только для Сэма».

 Как бы между делом, Реймер успел интересно рассказать в своих воспоминаниях о людях, окружавших Бродского – его друзьях Ромасе и Эле Катилюсах, поэте и филологе Леониде Черткове, поэте, выдающемся переводчике Андрее Сергееве, а также – о родителях поэта – Александре Ивановиче Бродском и Марии Моисеевне Вольперт.

**Из переписки Омри Ронена с В. Ф. Марковым. Публикация Ирины Ронен (Звезда, № 1, 2014)**

Личность Омри Ронена (1937 – 2012) для меня определяется (хотя и не исчерпывается) двумя главными качествами – очень большой филологической одаренностью и любовно пестуемой в себе злостью. Без книг Ронена о Мандельштаме и серебряном веке, а также без трех сборников его эссе и без многих блестящих роненовских статей наше представление о русской литературе ХХ века было бы обидно и непоправимо обеднено. Обладавший замечательной памятью и редким умением внимательно читать поэтические и прозаические тексты, Ронен обогатил копилку интерпретаций этих текстов чудесными смысловыми обертонами и неожиданными контекстами.

Злость, по-видимому, казалась автору книги «An Approach to Mandelstam» не страшным недостатком, а добродетелью, придающей дополнительное обаяние его личности – заблуждение, увы, весьма распространенное в гуманитарной среде (о чем я уже писал чуть выше). По воспоминаниям жены, о недругах Ронен говорил: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Она же рассказывает такой характерный анекдот: «Омри имел обыкновение носить очень открытые рубашки. Однажды на ироническое замечание своего сослуживца-болгарина по этому поводу он, быстро застегнувшись, ответил: “Простите. Я не знал, что вас это возбуждает”». Так и представляешь себе торжествующее лицо Омри и растерянное, несчастное лицо оплеванного «сослуживца-болгарина»!

Впрочем, к поэту и старейшему русскому слависту, жившему в США, Владимиру Федоровичу Маркову (1920 – 2013) Ронен относился с большим почтением. Забавно, что в их короткой филологической переписке, опубликованной «Звездой», именно Марков выступает в роли не слишком-то церемонящегося со своим корреспондентом ворчуна: «У Вас *сходится* неплохо, но как-то скучно получается <…> Что у Мандельштама – Харон, это ерунда, это совсем не выявлено. Нужно стараться делать дела без натяжек или с очень небольшими». Ронен же отвечает на все это чрезвычайно мягко, хотя позиций и не сдает.

Обсуждают собеседники, в первую очередь, манедельштамовское стихотворение «Дайте Тютчеву стрекозу…», причем Ронен попутно высказывает интереснейшее и, кажется, не вошедшее в его работы наблюдение, касающееся едва ли не самого известного произведения Блока: «…вино в “Незнакомке”, как и “крендель булочной” (хлеб), “детский плач” и “глухие тайны” – развитие той же темы причастия, что и в “Девушка пела <в церковном хоре...>”: “Причастный тайнам плакал ребенок”».